

25.048K



60-летию
Победы
в Великой
Отечественной войне
посвящается

НЕОПАЛИМАЯ ПАМЯТЬ





Прощайте! Уходи с порога,
Над старой судьбой не волнуй.
Копьется наша дорога -
Дорога пришедших с войны.

Прощайте! Со временем вместе
Накатом последней волны
Уходи дорогою гести,
Дорогой пришедших с войны.

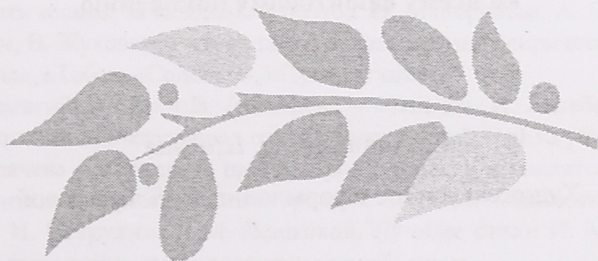
Уходи... Над хлебом насущным -
Великой Победы венец.
Идем, салютая живущим
Разрывая наших сердец.

Михаил Дудин

Николай МАЙОРОВ
Алексей ЛЕБЕДЕВ
Владимир ЖУКОВ
Михаил ДУДИН
Николай ГРАЧЕВ
Иван ПЕТРУХИН
Игорь МАРТЬЯНОВ
Николай СИЛКОВ
Маргарита ЛЕШКОВА
Иван ГАНАБИН
Владимир ДОГАДАЕВ



НЕОПАЛИМАЯ
ПАМЯТЬ



В дар краевому фонду
ИОНЪ в день рождения
Иван. радио от през.
ИГТАК В. Камашева

Иваново
2005

2005 г.

0-2010

Дорогой читатель! Перед тобой книга, в которой представлены стихи одиннадцати ивановских поэтов-фронтовиков Великой Отечественной. Одни погибли на войне, другие умерли после нее, третьи, к счастью, и сегодня рядом с нами. Хотя... в канун 60-летия Победы, как в той, популярной некогда песне о защитниках безымянной высоты, – «в живых остались только трое...»

Наша небогатая земля, о которой Владимир Жуков сказал однажды: «Если есть где-то сердце России, / то стучит оно здесь испокон!» – дала отечественной поэзии славные имена.

Подумать только, за каждым из поэтов: Н. Майоровым, А. Лебедевым, М. Дудиным, В. Жуковым – стоят такие общеизвестные лирические шедевры, как: «Мы», «Тебе», «Соловьи», «Пулеметчик»...

Хрестоматийны стихи В. Догадаева – «Озимь», И. Ганабина, дебют которого в поэзии приветствовал сам А. Твардовский, – «Его убили на войне...», Н. Грачева – «Тридцать шесть строк о юности и солдатских ботинках». Поразительны мужественные строки Н. Силкова, поздние поэтические откровения И. Петрухина и М. Лешковой. Лучшие стихи И. Мартыанова написаны в годы войны или посвящены ее событиям.

Утверждение о том, что, когда грохочут пушки, музы молчат, было опровергнуто рождением на той войне великой отечественной поэзии. Есть в ней непревзойденные вершины: таково творчество нашего национального гения Александра Твардовского, таковы поэтические произведения о войне и Победе классиков Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, бессмертные песни, ставшие народными, Михаила Исаковского... Но подлинный ее масштаб определен жизненным подвигом всего поколения поэтов-фронтовиков.

Многие из них, этих «рядовых» литературы, жившие большей частью вдали от столицы, составили себе скромные, но достойные поэтические имена и служили отечественной поэзии так же, как честно и беззаветно воевали на фронте, без оглядки на звания и награды.

И хотя стихи их подчас негромко звучали рядом с голосами поэтических знаменитостей – К. Симонова, М. Дудина, С. Орлова, О. Берггольд, А. Яшина, А. Межирова, С. Луконина, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, Б. Окуджавы (в этом же ряду лира нашего земляка, лауреата Государственной премии РСФСР В. Жукова), – однако поэтический контекст времени, которому все они принадлежат, просто невозможно представить без тихого подвига бесчисленных «чернорабочих» войны и поэзии.

Им прежде всего отдаем мы сегодня дань памяти, любви и благодарности, заново перечитывая их строки, вспоминая их биографии.

...Одиннадцать поэтических судеб как одна судьба. Капля в океане все-народной трагедии, имя которой – Великая Отечественная. Капля, в которой отразился весь океан народной боли, страданий, подвигов на войне, названной с первых ее дней – священной. Капля, в которой светится торжество нашей Победы.

К сорок первому году авторы этой книги были совсем молодыми людьми мирных, «гражданских» профессий. Николай Майоров намеревался стать историком, Владимир Жуков – филологом, Михаил Дудин – журналистом, Игорь Мартянов – архитектором. Рабочие пареньки Николай Силков и Николай Грачев, крестьянский сын Иван Петрухин не успели даже задумать свою жизненную программу. А самый юный из них – Владимир Догадаев хоть и мечтал о море, так же, как Иван Ганабин, но это была полудетская, книжная, не до конца осмысленная мечта.

Лишь морской офицер, подводник-балтиец Алексей Лебедев связал свою жизнь осознанно и навсегда с Военно-Морским Флотом. Но он был и старше всех: к моменту гибели в ноябре 1941-го лейтенанту Лебедеву исполнилось двадцать девять. Он же, единственный из авторов «Неопалимой памяти», был принят в Союз писателей по своей первой книге – «Кронштадт» еще в 1939 году и уже имел известное в Ленинграде и на Балтике литературное имя.

Как человек военный, А. Лебедев яснее других представлял неизбежность войны с фашистской Германией. Еще в 1937 году курсант Ленинградского Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе в стихотворении «Товарищу» («Пройдет война...») предрекал возможность своей гибели на этой войне. Но еще ярче, мощнее заявил о готовности от имени ровесников пожертвовать собой в грядущих боях Николай Майоров. Его самое цитируемое стихотворение «Мы» (1940), программное по своей сути, стало манифестом поэтов «двадцатого года рождения» (Н. Грачев). Это было прочтение двадцатилетнего юноши, ощутившего в самом начале пути, что – «Мир... нами пройден, пройден до конца», и оставившего потомкам романтический портрет своего поколения: «Мы были высоки, русоволосы. / Вы в книгах прочтаете, как миф, / О людях, что ушли, не долюбив, / Не докурив последней папиросы».

Алексей Лебедев и Николай Майоров... Два звонких молодых имени по справедливости открывают «Неопалимую память»: эти поэты подтвердили свои поэтические декларации собственной жизнью и смертью. Алексей Лебедев имел полное право написать возлюбленной: «Не плачь, мы жили жизнью смелой, / Умели храбро умирать. / Ты на штабной бумаге белой / Об этом сможешь прочитать».

Оба погибли в первые, самые тяжкие месяцы войны, когда фашисты взяли в кольцо голодной блокады Ленинград, подступали к Москве и были

убеждены в своем скором торжестве. Но подлинная победа воинского духа уже тогда была на нашей стороне – непостижимая для врагов уверенность в конечной Победе, изначальная и непререкаемая.

Многие поэты этого поколения, зная, что первыми падут в бою, считали, как и Николай Майоров, такую судьбу не только справедливой, но и завидно достойной: «Пусть помнят те, которых мы не знаем: / нам страх и подлость были не к лицу. / Мы пили жизнь до дна / и умирали / за эту жизнь, / не кланяясь свинцу» (1941).

И все они, несмотря на безоговорочную готовность поколения к самопожертвованию, были полны жажды жизни и творчества и могли бы подписаться под майоровскими словами: «Для нас, нескладных и упрямых, / Жизнь не имела потолка».

Могли бы, если бы знали его стихи...

Однако к началу Великой Отечественной необыкновенной талантливостью Н. Майорова восхищались лишь школьные сверстники и учителя, сокурсники по истфаку МГУ и товарищи по поэтическому семинару в Литературном институте. Он посещал его одновременно с университетскими занятиями. Юный поэт успел опубликовать лишь несколько стихотворений в университетской многотиражке. Мечтал о поэтической книжке. Но «в час, когда под Ельней рыли рвы» (В. Жуков) Николай Майоров оказался под Ельней. А потом и на фронте в должности политука пулеметной роты.

В биографиях авторов этой книги отразилась во всем многообразии воинская судьба поколения, как океан – в капле. Они принадлежали разным родам войск. Среди пушкарей и разведчиков, пулеметчиков и шоферов, моряков и санинструкторов, военных журналистов и, конечно, представителей «матушки-пехоты» на всех фронтах были и наши земляки...

И так уж вышло, что большинство из них сначала стали воинами, а уж потом проявили себя как поэты. Возможно, многих из них поэтами сделала именно война. «Наши песни спеты на войне», – признавался Михаил Дудин, самый звонкий трубадур своего поколения.

Это правда. Хотя диапазон тем поэтов-фронтовиков так же широк и неохватен, как сама жизнь с ее радостями и печалью, любовью к женщине, природе, детям... И все же, принявшие огненную купель боевого крещения, они уже никогда не могли забыть об этом. Война стала основой их мировосприятия. Обретенный на передовой сложнейший духовный опыт определил всю их дальнейшую жизнь. И самые сильные произведения они написали на войне или о войне.

Они выстрадали свою «окопную» правду. И когда в начале пятидесятых на уровне литературного официоза их стали критиковать за недостаток оптимизма (доставалось в свое время и оптимисту М. Дудину), фронтовики не могли отказаться от военной темы. Она вошла в них так глубоко, что, казалось, не хватит жизни, чтобы осмыслить пережитое.

И чем бы ни занимались, о чем бы ни писали вчерашние солдаты, война оставалась главным событием их жизни. Совсем короткой, как у Ивана

Ганабина, умершего тридцати двух лет от роду. Или долгой, какая выпала на долю отважного Ивана Петрухина, кавалера двух орденов солдатской Славы и трех медалей «За отвагу», потерявшего на фронте руку. Он и в свои восемьдесят семь создает стихи, в которых не перестает звучать память о войне.

И эта память в первую очередь была адресована погибшим друзьям, боевым товарищам.

Для этих поэтов солдатское братство – неотъемлемая часть молодости, остроты и неповторимости чувств, пережитых на грани смертельного риска, готовности отдать жизнь «за други своя». Словом, та концентрация мужественности, которая неведома живущим благополучной, сытой жизнью... «Где ты, братство солдатское, где ты? / Как твои согрели костры!» (Н. Силков).

Они не бросали своих и в мирное время. Не забывали погибших. Владимир Жуков всю жизнь в лирике и поэмах создавал мартиролог друзей и однополчан, убитых на войне, умерших от ран. Делал все, чтобы выходили в свет книги Николая Майорова и Алексея Лебедева.

Множеством дружеских посвящений живым и погибшим пронизано поэтическое послевоенное пространство. И в нем, как в едином информационном поле, до сих пор продолжают звучать «позывные простреленного сердца» (В. Жуков) каждого погибшего поэта.

Можно ли было предположить, что мало кому известный при жизни Николай Майоров станет своими строками о «людях, что ушли, не долюбив» маяком, на который будет ориентироваться целое фронтовое поколение поэтов с его любовью к погибшим братьям. Бережное отношение к каждой строке Николая Майорова и Алексея Лебедева сохранило для потомков эти имена. Друзья, в большинстве своем прошедшие дорогами Великой Отечественной, не только издавали их посмертные книги, но и настойчиво вводили в военный и послевоенный культурный контекст образы погибших поэтов как символы своего времени, помогая осознать природу их самопожертвования. Они прекрасно понимали, что на таких примерах воспитывается подлинный патриотизм.

Именно поэтам – участникам войны с самого начала дано было почувствовать масштаб таких лириков, как Алексей Лебедев и Николай Майоров. «Мы должное твоей заплатим славе», – обещал в сорок втором Михаил Дудин в стихотворении «Памяти Алексея Лебедева». И в том же году, получив известие от Владимира Жукова о гибели их общего друга Николая Майорова, он пишет на Ленинградском фронте своих знаменитых «Соловьев». Эта баллада об умирающем от ран товарище «из пулеметной роты» с ее патетическим прославлением «смерти во имя жизни» была напечатана в сборнике «За родину» (Иваново, 1942) одновременно с прощальным словом ивановских писателей Алексею Лебедеву и большой посмертной публикацией его стихов. Так пересеклись орбиты жизней, ранее не соприкасавшихся, но ставших неразделимыми посмертно.

Прошли десятилетия, а мы и до сих пор находим отзвук мужественной майоровской интонации у самых разных авторов... Ты, читатель, отчетливо почувствуешь это, когда прочтешь «Неопалимую память». И, быть может, впервые (если ты молод) откроешь для себя богатый душевный мир этого высокоодаренного юноши – мир, поэтическая первозданность которого поражает. Перед нами обаятельный образ поэта, пылкого, распахнутого навстречу жизни, бесстрашного перед смертью и бессмертием, стремящегося все в этом мире назвать по имени, словно никто до него этого не делал. Стихи Н. Майорова: «Творчество», «Памятник», «Художник», «Рождение искусства», «Что значит любить», «Как я любил», «Ревность», «Я лирикой пропах, как табаком...», «Стол» – говорят о неукротимом стремлении их автора к высотам человеческого духа, невероятной жажде созидания, способности к всепоглощающей страсти и любви. Их накал, градус той лирической лихорадки, которой поэт был «прекрасно болен», заставляет нас горько сожалеть об этой потере.

Ибо великая цена нашей Победы сложилась не только из навсегда оборванных человеческих жизней, но и – из тех несбывшихся творческих обещаний, которые стояли за каждым убитым на войне талантом.

Когда-то казалось, что стихи воинов-поэтов о Великой Отечественной навсегда вошли в литературный обиход, что их будут вечно цитировать и переиздавать.

Но вот настали новейшие времена, и оказалось, что многие из этих произведений давным-давно не выходили к читателю и как бы выпали из нашей жизни, потесненные не столько современными информационными технологиями, сколько вновь провозглашенными «ценностями», вступившими в противоречие с тем, что было свято для предыдущих поколений.

Правда, извечная тема отцов и детей, их порой естественно возникающего взаимного недопонимания прозвучала в стихах и Дудина, и Жукова еще в советские времена, когда отношение к военному периоду нашей истории казалось бесспорным. Но в момент социальных сдвигов, произошедших на исходе прошлого столетия, возникла трещина между поколениями. Ее края искусственно и искусно раздвигались стараниями тех, кто хотел бы в сознании людей нового тысячелетия стереть самую память о героическом прошлом народа, о его подвиге в Великой Отечественной войне, посеять семена раздора между отцами и детьми, а трещину недопонимания превратить в зияющую, непроходимую пропасть.

Вот тут-то на помощь нам и приходит неподкупное поэтическое слово фронтовиков, которое – превыше всех документов эпохи, ибо те могут быть продиктованы и корыстными, несправедливыми целями и просто оказаться подложными.

Истории бесчисленных земных войн созданы полководцами, политиками, современниками событий и их потомками. Но было ли когда-нибудь подобное?! – свою историю этой Войны написали поэты...

Они запечатлели события Отечественной на эмоциональном уровне. Что чувствовал воин, которому, преодолевая смертельный страх, надо было подниматься в атаку? Что давало ему силы не пасть духом, что возвышало его над, казалось бы, невыносимым бытом войны? Что позволяло ему, как поэту В. Жукову в стихотворении «Пушка», утверждать: «...враг был ниже, ниже нас»? И что дало силы Николаю Грачеву, пережившему ужасы фашистских концлагерей, засвидетельствовать в рассказе об умирающем от голода человеке, который «До конца под освенцимским небом / Шахматы из хлеба... лепил», что «Человек не может / Жить, как вошь, / Без мысли и труда»? А ослепшему в бою командиру самоходки Николаю Силкову назвать свою израненную юность крылатой: «Ведь юность так вперед летела, / Что обгорала на лету...»?

И с чем можно сопоставить трагизм и подлинность майоровского стихотворения «Нам не дано спокойно сгнить в могиле...»? Эти строки не в тиши кабинета, не в уюте мирного жилища придуманы. Написанные накануне гибели, неизбежной и очевидной для самого автора, они полны такой страсти и такого высокого человеческого достоинства, что им невозможно внимать без содрогания и восторга. Поэту открылось недоступное смертному. Он увидел то, что будет после его гибели. Это вовсе не галлюцинация воспаленного солдатского разума, а некая особая поэтическая реальность: грозное провидение собственной судьбы. Так вот о чем думал гениальный юноша, чьему редкостному дару не суждено было развиваться! Мы не слышим ни сожалений, ни сетований на жестокость судьбы. Только мрачную и торжественную ноту – «призыв охрипшей полковой трубы», внятный и мертвым в их братских могилах, ибо и там «...мы построились в отряд / и ждем приказа нового».

Совершенно особая страница в истории войны – участие в ней женщин. Среди поэтов-воинов, которых мы считаем своими земляками – по праву ли их кровной связи с ивановской землей, как это было, например, у «ивановских ленинградцев» Алексея Лебедева и Михаила Дудина, по обстоятельствам ли жизни, как она складывалась у Николая Силкова и Ивана Петрухина, – есть одно поэтическое имя, которое закономерно стоит в ряду ивановцев-фронтовиков. Это Маргарита Лешкова, автор двух поэтических книг – «Живая вода» и «Листопад», вышедших в Верхне-Волжском книжном издательстве (1973, 1990). В отличие от А. Лебедева и М. Дудина она проделала обратный путь – из Ленинграда, защитницей которого была в дни блокады, в Шую, где и прожила с шестидесятых до своей кончины в 1998 году. Она не стала профессиональным поэтом, писала мало, только по сердечной необходимости, предъявляя к себе самые жесткие требования. Но оставленное ею скромное поэтическое наследство дорогого стоит.

У М. Лешковой мы не найдем описания боев: она сражалась по-своему, по-женски, не отнимая ничьей жизни, а лишь стараясь помочь сохранить ее своим соотечественникам (служила в ленинградском стройбате, извлекая

после бомбежек из-под руин живых и мертвых, несла дежурства в системе ПВО). В ее стихах нет ненависти – лишь неизмеримая боль, страдание, выраженные так, как это могла сделать только женщина, дающая жизнь, пеленающая дитя: «А на снегу лежит вторые сутки / Спеленутый, как кукла, человек».

У М. Лешковой своя, особая, поэтическая статья. Ее стихи отличаются тем неповторимым рисунком, тем редкостным сдержанно-благородным «звучком», который роднит малоизвестного провинциального автора с большими именами поэтов питерской школы. Таковы от первой до последней строчки – «Ленинград», «Под цокот бронзовых копыт...», «Баллада о ленинградской квартире». И ее «женские истории» – «Не судьба», «Я знаю, меня к этой двери толкнула...», «Воспоминаний чистый водоем»... Не часто сталкиваемся мы сегодня с чувствами такого накала!

В мире войны, насильственно разорванном на две части – мужскую и женскую, сотням тысяч наших женщин выпала на долю тяжкая солдатская работа – снайперов, радисток, разведчиц, связисток, сестер полевых медсанбатов. В мире, где убийство себе подобных стало обыденностью, их женская суть только глубже затаилась, чтобы сохраниться. И войны тянулись к женскому началу как к истоку жизни, боясь замутить и погубить собственную веру в возможность восстановления поруганной гармонии мироздания.

В стихотворении «Мое фронтовое письмо» Ивана Петрухина, который был на фронте с первого дня и воевал до конца войны, солдат обращается к возлюбленной: «Прости, прости, я был к тебе так нежен, / Когда твоих касался теплых губ. / Передний край раздолблен и заснежен, / И я теперь не тот, теперь я груб. // Нас прижимают пули к мерзлым глыбам, / Чуть шевельнешься – и прощай, прощай! / Прими мое солдатское спасибо / И обещай мне встречу, обещай».

В иступленности этого заклинания: «Обещай мне встречу, обещай» – все отчаяние, вся надежда солдатского сердца, трепещущего подобно пламени свечи на ледяном сквозняке войны.

Женская верность была тем ресурсом человечности, благодаря которому мужчины на войне в самых жутких обстоятельствах, где – «грязь, и бред, и вши в траншеях», где – «Протухли трупы и свернулась кровь» (М. Дудин); где – «Четвертые сутки ни крошки во рту, / А надо бесценно сражаться» (И. Петрухин); где – «Ключья шинели да кровь на кустах – / все, что осталось от друга» (В. Жуков); где «...в танке, раненный смертельно, / Остался башенный стрелок» (Н. Силков), – выживали не только физически (башенного стрелка в стихотворении все-таки спасает медсестра).

Но вера и неверие – это как две чаши весов, которые колеблются, может быть, и помимо воли солдата. Вера подкрепляется и ослабляется и женской верностью, и женской неверностью: в жизни как в жизни и на войне как на войне. Вот всего шесть строк Владимира Жукова, равных, быть может, драматичной повести о любви на войне: «Она бросить его хотела, / но сказать

о том не успела. // Голосит ошалело зуммер – / к аппарату сержанта зовет... / Он судьбу обманул – умер / от немецкой пули в живот» («Не судьба», 1944).

...Можно ли забыть – а мы это подчас забываем, – что войну выиграли в общем-то молодые люди?

Самый младший из авторов этого сборника – В. Догадаев через тридцать лет после начала войны признавался: «На войне я не был ветераном, / Был я очень молод на войне». Он из тех мальчишек, «травы зеленее», кто, «храбрясь и бледнея», встал в «единой шеренге с отцами». Хотя – ветерана от необстрелянного новобранца отделял иногда всего лишь год-другой призыва, а то и – единственный бой («Пополнение», Н. Силков). Но как бы то ни было, свойственная юности, молодости бесшабашность, потребность в любви и красоте, неиссякающее чувство юмора помогали русскому солдату преодолевать, казалось бы, невыносимую повседневность войны. Это было время, когда люди довольствовались малым. Вот бойцы получили «краткосрочный отпуск от войны» – и: «Впервые за три месяца в землянке / мы, словно боги, спали без сапог» («Отдых», В. Жуков. *Выделено мной.* – Л.Щ.) Вот пришло солдату письмо, почтальон заставляет его плясать: «Кто-то гикнул, кто-то свистнул, кто-то вдруг / Прибаутку лихо выбросил на круг. // Все смеются, и дробит гармошке в лад / От души развеселившийся солдат» (В. Догадаев). Вот фронтовой водитель И. Мартьянов, чьей машине «вихри снега ехать не дают», поставил ее «по-за хатой» и мечтает: «Ну, а мне – / Напиться б вдоволь чая / Да портянки высушить к утру...» И он же – о солдатской душе, которая не «очерствела в пекле этом»: «Как память добрых мирных лет, / Как драгоценная отрада, / Стоит ромашковый букет / В латунной гильзе от снаряда».

Потребность в красоте была такой острой, что за нее, случалось, и жизнью платили, как в удивительном стихотворении Петрухина «Снайпер бьет – дымок едва струится...» Боец загляделся на чудо – иволгу, сверкающую «золотом меж веток голубых», и был сбит вражеским выстрелом: «Зазевался друг мой, зазевался, / Редкой красотой заморожен».

Глубина народной трагедии, наши утраты и скорби в ту войну измерялись не только армиями погибших, но и миллионами военнопленных, увечных, вдов, сирот... В руинах лежало полстраны.

Вся надежда была на солдат, вернувшихся с войны.

И они оправдали эти надежды.

Потому что страстно хотели жить.

Потому что были молоды и полны сил. Потому что их ждала любовь: «Горит окно знакомой занавеской. / Писала – «жду», / Писала – «дорогой». / Любимая моя, / Моя невеста, / Я так хотел увидиться с тобой!» (В. Догадаев).

Потому что хотя приходилось возводить новый дом на вчерашнем пепелище, но была уверенность, что он обязательно поднимется: «...С утра до вечера / Идет, / Не затихает стройка <...> Смолою пахнет... / Облака / Весенний ветер гудит... / Здесь дома нет еще пока. / Но люди есть: / Он – будет!»

Потому что просто «Хорошо проснуться на рассвете...» (И. Ганабин).

Жизнелюбие – особая отличительная черта поколения. Как и повышенный уровень чувства ответственности, человечности. Оставшиеся в живых солдаты несли пожизненный груз вины перед погибшими. Без вины виноватые, они всю жизнь испытывали горечь от того, что слишком многие их фронтовые друзья умерли, не оставив по молодости ни жен, ни детей. Только – обреченных на вечную скорбь матерей: «Скачут горячие кони / Крайконца не видать... / Взглянет на них и заплачет / Чья-то страдалица-мать» (И. Ганабин). Вновь и вновь возвращается к этому мотиву В. Жуков («Николай Майоров», 1959; «Памяти Н. Майорова», 1975). Это были неотступные думы о том, что: «...Быть может, его повстречавшая пуля / Отлита была для меня» (И. Мартынов).

И вечной болью отдавалась мысль о вдовах и сиротах.

Раны, нанесенные женщинам войной, были неизлечимы. Если вернувшиеся солдаты – даже инвалиды – в большинстве своем как-то сумели обустроить свою мирную личную жизнь, то большинство вдов и множество незамужних женщин вынуждены были прожить отпущенные им судьбой послевоенные годы, будучи обделены нормальным семейным благополучием, не узнав радости материнства. Отзвуки этой горькой темы мы встречаем в творчестве всех поэтов, представленных в этой книге. Потрясают стихи Н. Грачева – «Бабы», «Рученьки белые...». Полны сочувствия к неоправданному женскому одиночеству «Ткачихи» В. Жукова, «Вдова» В. Догадаева, «Его убили на войне...» И. Ганабина.

И всю жизнь некуда было деться от мыслей о ветеранах-инвалидах и пожизненных испытаниях, выпавших на их долю. Подчас сострадание причиняло острую боль: «Еще не забыта блокада, / Не зажили раны во мне... / Не надо, не надо, не надо / Со мной говорить о войне!» – почти кричит Маргарита Лешкова в стихотворении «Гармонь», посвященном слепому гармонисту. А сама только и делает, что говорит о войне. В ее стихотворении «Снег», образность которого пронизана фронтовыми ассоциациями, описание обычного снегопада превращается в апофеоз военной памяти.

Составитель все время задается вопросом: кто будет читать эту книгу? Воины-ветераны? Их поседевшие дети? Или внуки, ставшие в свою очередь солдатами? Или правнуки, которым сражения Великой Отечественной сегодня, в начале нового тысячелетия, кажутся, наверное, почти такими же далекими, как и события Отечественной войны 1812 года? Срок-то ведь и в самом деле огромный – уже после победного 45-го успело родиться и состариться целое поколение. Но для участников тех событий, для их детей все еще не настало время беспристрастного отношения к Великой Отечественной.

Нет срока давности для потери близких. Нас еще мучают фантомные боли утра. И что говорить об инвалидах, которые прожили жизнь без рук, без ног, без света...

В двадцать лет лишился зрения Николай Силков и до сих пор сражается с окружающей его темнотой. В молодости, когда отчаяние могло сломить менее сильного, чем он, человека, лейтенант Силков, командир самоходного орудия, вступил в бесконечное сражение с пожизненной бедой, противостоять которой считал своим человеческим и солдатским долгом. Он потерял глаза и ногу на поле брани. Но и ныне, переступив порог восьмидесятилетия, этот русский богатырь пишет стихи, в которых четко проявляется его боевая жизненная позиция. В его стихах «Полоненная Родина», «Зачем ходил я на войну?» – горечь сегодняшнего дня и в то же время неколебимая солдатская уверенность в том, что воевал за правое дело.

Нельзя не вспомнить, что поэт Николай Силков был спасен любовью и заботой своей жены, незабвенной Зинаиды Павловны. Ее подвиг запечатлен в его нежных и трогательных стихах. В них чувствуешь биение живого сердца, пострадавшего и благодарного, и думаешь о том, что тема любви и верности, мужества и стойкости принадлежит не только ветеранам минувшей войны. К горю нашему, в последнюю четверть века стране приходится переживать так называемые «локальные» конфликты, породившие те же, казалось бы, оставшиеся в далеком прошлом, проблемы военных инвалидов – увечий, страданий... Солдатские вдовы и сироты – это вновь юные женщины и дети. Молодые инвалиды этих войн, приведенные увечьем или потерей близких к роковой черте, вынуждены решать: как жить?! И разве опыт таких стойких солдат, как Николай Иванович Силков, и таких терпеливых жен, как та, что прожила рядом с ним свою жизнь, не могут стать точкой опоры в мире, в одночасье утратившем свою устойчивость? А стихи его – тем маяком, что светит человеческому сердцу и в полной темноте?

Старые воины, принявшие за нас невыносимые муки, сегодня так ранимы, так зависимы от нашего к ним отношения, что было бы великим грехом обижать их своим невниманием или, того хуже, черствостью, пренебрежением.

Как горестно звучат строки Ивана Петрухина, который, описывая состояние упавшего на улице израненного инвалида (прохожие принимают его за пьяного), восклицает: «О люди, не пройдите мимо / Судьбы непонятой солдата!»

И если даже всегда светло глядевший на мир Михаил Дудин в конце своего земного и поэтического пути написал страшные строки: «Умирает солдат недужный, / Никому на земле ненужный...», значит, наше общество – все мы – страшно провинились перед поколением, отстоявшим Родину от фашизма.

Исполняется шесть десятилетий с той поры, как народ наш впервые отпраздновал великую Победу и оплакал еще не подсчитанные тогда невозможные жертвы, принесенные ради нее.

И вот оказалось, что праздник этот не только не померк, но с еще большей силой разгорается в исторической памяти русского и всех братских

народов, которые воевали плечом к плечу против гитлеризма. Эта была такая всесветная битва добра и зла, что Победа добра никогда не забудется человечеством, даже если сегодня кому-то эта мысль кажется излишне пафосной.

Есть ощущение (или это только несбыточная прекраснодушная мечта?), что именно всенародное празднование 60-летия Великой Победы для России и ее новых поколений станет последней точкой отката от патриотических традиций, которыми всегда была сильна наша Родина.

Почти так же, как это было, когда под натиском вражеских орд дошли до Волги, закрепились на ее правом берегу, сказали себе – «ни шагу назад!» и одержали победу в Сталинградской битве, решившей судьбу войны.

И поэзия, которая рождалась в дни Великой Отечественной как отклик на жизнь народа, питая и поддерживая его дух, снова может обрести свою прежнюю благородную спасительную силу. Недопустимо растрачивать этот ресурс наших духовных возможностей с такой же безответственностью, с какой выкачиваются сегодня из российских недр нефть и газ. В конце концов, утрата полезных ископаемых опасна, но не смертельна: побуждаемые нуждой, ученые придумают новые способы добыwania энергии. Но «обессточенный» национальный дух – это уже страшно!

Владимир Даль в своем знаменитом словаре так растолковывает слово **дух**: «Сила души, доблесть, крепость и самостоятельность, отважность, решимость; бодрость». Истинная поэзия заключает в себе высочайшую концентрацию духа. Именно она, наряду с историей и литературой родной страны, может одушевить новые проекты новых людей, напомнив им, что в условиях нечеловеческих их предки не только сохранили человечность, но и дали на многие поколения вперед образцы национального духа. Не думаю, что напоминать об этом наивно и бесполезно. Мы как никто способны поверить Слову и пойти за ним, не скупясь на жертвы. Это наша общенациональная черта.

К тому же жизнь так скоротечна, что обидно тратить ее на ничтожные дела и поступки, на дешевые удовольствия скудного идеями общества потребления, в которое нас упорно пытаются превратить. Тут уместно вспомнить два стихотворения – «Молодой, по-мальчишески дерзкий...» Николая Грачева и «Век» Владимира Догдаева (с посвящением Н. Грачеву). Образ времени сопряжен с нарастанием его скорости на веку обоих поэтов. Для Грачева это – бешено мчащийся поезд, в который его посадили. И сойти он не волен, и сопротивляться неодолимому движению – не в силах.

У В. Догдаева это в еще большей степени – запредельность скоростей. Его *человеческий век* – всего лишь промельк зари между отворенными и затворенными ставнями. Так похоже на виртуальность существования текста на экране дисплея, легко стираемого без всякого следа нажатием соответствующей клавиши. Было – и нет! И не восстановить. Утрачено...

Но солдаты минувшей войны, страшной по своим жертвам и разрушениям, знающие цену жизни и смерти, больше чем кто-либо имеют право

«в миг летучий», «на краю» нового тысячелетия – «Как на ветреной качели,
/ Взяв в откате высоту» – пожелать самим себе и новым поколениям: «Неде-
лимый белый свет. / ...Нам с тобой / на ликованье / И еще – на тыщу лет!»
(«На краю тысячелетия», В. Догадаев).

Однако, чтобы пожелание это сбылось, людям наступившего века надо стремиться во всем быть достойными своих предшественников. Чтобы никто и никогда не посмел сказать, что так самоотверженно, как воины Великой Отечественной, их внуки и правнуки защищать свое Отечество не способны.

У нашей армии и сегодня есть свои герои, только знаем мы о них очень мало. Гораздо чаще раздаются упреки Вооруженным Силам. У молодых ребят сегодня воспитывается страх перед срочной службой – первой обязанностью настоящего мужчины. Стихи Алексея Лебедева и Ивана Ганабина в «Неопалимой памяти» противостоят этим настроениям той особой бодростью духа и чувством юмора, которые всегда высоко ценились на флоте и в армии.

И если нашим землякам, новобранцам двадцать первого века, придется шагать в строю под «Солдатскую песню», – пусть знают, что сложил ее знаменитый поэт Михаил Дудин, рожденный в деревеньке Клевнево под Фурмановым, прошедший дорогами двух войн, живший в столицах, объехавший весь белый свет, достигший всех земных почестей и завещавший похоронить себя в родной земле, на деревенском погосте, рядом с могилой матери.

Хочется крикнуть из нашего неустойчивого, сомневающегося во всем времени туда – в то прошлое, из которого погибший поэт Николай Майоров все время ведет диалог с потомками («Пусть помнят...», «И пусть не думают, что мертвые не слышат...»), «А тем – прости: им было нечем / прикрыть бессмертья наготу»), в надежде на то, что он и в самом деле услышит: «Мы помним! Мы знаем! Мы любим! Мы не пустим по ветру ваш подвиг! Мы передадим несгорающую память о вас как эстафету в будущее!»

Ради этого и выходит в свет «Неопалимая память».

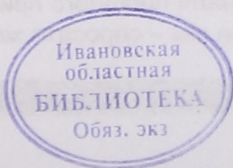
Лариса ЩАСНАЯ,
член Союза писателей России

НЕОПАЛИМАЯ ПАМЯТЬ



...Мы все устава знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждем приказа нового. И пусть
не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

Николай Майоров



Николай Петрович Майоров родился в семье сельского плотника из деревни Павликово Гусевского уезда Владимирской губернии. С 1929 года семья Майоровых жила в Иваново-Вознесенске. В 1937 году Н. Майоров окончил 33-ю среднюю школу (ныне № 26 им. Д. А. Фурманова) и поступил в Московский государственный университет. Учёбу на историческом факультете с 1939 года совмещал с посещением поэтического семинара в Литературном институте им. М. Горького.

Когда началась Великая Отечественная война, Николай Майоров вместе с другими студентами участвовал в рытье противотанковых рвов под Ельней. В октябре 1941 добровольцем ушел на фронт.

Политрук пулеметной роты Николай Майоров был убит в бою 8 февраля 1942 года в Смоленской области. При жизни печатался лишь в университетской многотиражке. Многие его стихи не сохранились. А те, что удалось сбересть друзьям, составили две его посмертные книги: «Мы» (М., 1962) и «Мы были высоки, русоволосы» (Ярославль, 1969).

Стихи Николая Майорова входили в коллективные сборники и антологии: «Сквозь время» (М., 1964), «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» (М.; Л.; 1965), «Имена на поверке» (М., 1972), «Вслед за памятью» (Ярославль, 1981), «Поэзия ивановского края» (Иваново, 1999) и др.

МЫ

Это время
трудновато для пера.

В. Маяковский

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячий, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспать пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы –
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы – спросите жен!

Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.
А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатого плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх – и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И, как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

За прудом упало прясло,
Ветер пьет из трав росу.
И рябина в кофте красной
Улыбается овсу.

Глубиной пугает заводь,
За осокой – пустыри
Ловят желтыми глазами
Золотой султан зари.

1936

АПРЕЛЬ

Ту улицу Московской называли.
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли
Ее простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом.
Купалась в стеклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза.
По вечерам – тягуче, неумело
Из-под шершавой выгнутой руки
Шарманка что-то жалостное пела –
И женщины бросали пятаки.
Так детство шло.
А рядом, на базаре,
Народ кричал. И фокусник слепой
Проглатывал ножи за раз по паре.
Вокруг – зеваки грудились толпой.
Весна плыла по вздыбившимся лужам.
Последний снег – темнее всяких саж –
Вдруг показался лишним и ненужным
И портившим весь уличный пейзаж.
Его сгребли. И дворники, в холстовых
Передниках, его свезли туда,
Где третий день неистово, со стоном
Ломала льдины полая вода.

1937

ЧАСЫ

Я не знаю, час который.
Летний день уходит в дым.
Может, нам расстаться скоро,
Может, часик посидим?
Против озера большого
У смеющейся воды
Запоем с тобою снова,
Что мы оба молоды.
Не гляди в часы. Не надо.
Я часам твоим не рад.
Ниагарским водопадом
Брызги времени летят.
И подумай – кто осудит?
Прогуляем до росы.
Может, бросим и забудем
Расставанье и часы?
С ветром ночь уже шепталась,
Падал с трав кристалл росы.
Но любовь не умещалась
Ни в слова и ни в часы.

1937

ВЕСЕННЕЕ

Я шел, веселый и нескладный,
Почти влюбленный, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,
А от слободки, по низам,
Шел первый дождь,
Он бился в стекла,
Гремел в ушах,
Слепил глаза,
Летел,
Был слеп наполовину,
Почти прямой. И вместе с ним
Вступала боль сквозная в спину
Недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,
И лишь потом на всех углах
Вразбивку бабы торговали,
Скрывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
Просили взять,
Вдыхали в нос,
На грудь прикалывали,
Брали
Поштучно,
Оптом
И вразнос.
Ее вносили к нам в квартиру,
Как лампу, ставили на стол,
Лишь я один, должно быть, в мире
Спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,
Меня не трогали цветы.
Я думал о бульварах, где бы
Мне встретилась случайно ты,
С которой я лишь понаслышке,
По первой памяти знаком –
Дорогой, тронутой снежком,
Носил твои из школы книжки.

Откликнись, что ли!
Только ветер
Да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить –
Мы лишь дети,
Которых снова ждут домой,
Где чай остыл,
Черствеет булка...
Так снова жизнь приходит к нам
Последней партой,
Переулком,
Где мы стояли по часам...

Так я иду, прямой, просторный,
А где-то сзади, невпопад,
Проходит детство, и валторны
Словами песни говорят.

Мир только в детстве перевозданен,
Когда, себя не видя в нем,
Мы бредим морем, поездами,
Раскрытым настезь в сад окном,
Чужою радостью, досадой,
Зеленым льдом балтийских скал
И чьим-то слишком белым садом,
Где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,
Нам снова хочется домой,
В тот мир простой, как лист тетрадный,
Где я прошел, большой, нескладный
И удивительно прямой.

1938



Дыша табачным перегаром,
смежив усталые глаза,
я жду последнего удара
твоих ресниц, моя гроза.

Он близок, тот удар. Он близок.
Я жду, от счастья онемев,
когда ты бросишь этот вызов,
вполоборота посмотришь.

И будет он неотразим,
великолепен, неминуем, –
пощечиной иль поцелуем
он мне уж слышится вблизи.

Как ты, упрям и привередлив,
я жду...
Молчанье. Вздохи лишь.
Ударь, ударь: опасно медлить,
когда над пропастью висишь...
Окно и осень. Стены в пакле.
Ширяет ветер – лют и храбр...
Тобою дни мои пропахли,
как стеарином – канделябр.

1938

КАК Я ЛЮБИЛ

Как я любил, о том расскажут после.
Но ведь искусство жить совсем не в том,
Чтоб ловко, мать, уметь казаться взрослым
И женщину любить с красивым ртом.

Все это было и давно минуло.
Любовь коверкала, ломала, жгла
И – кончилась. И наша Мариула
С бродячими цыганами ушла.

Нам песни петь, а ей сквозь снег и слякоть
Водить медведя на цепи, навзрыд
Кричать в лицо прохожим, но не плакать,
Мир и от слез не вздрогнет, устоит.

СТРЕМЛЕНИЕ

Мы расходились и опять встречались,
писали письма, слали адреса.
Над нами звезды робкие качались
и месяц рыжий с неба нависал.

Гремели поезда на перегонах,
ключи разлук глубоко затая,
и, не сойдясь, мы в крашенных вагонах
вновь разъезжались в разные края.

И все ж, метаясь, злобствуя, кочуя
по гулким незнакомым городам,
в конце концов стремлюсь я
и хочу я
причалить к тем же сбитым берегам.

Пусть в этом городе мне все знакомо,
но разве не приятно мне опять
за каждым поворотом, каждым домом
знакомый мир, как в детстве, узнавать...

1938



Не надо слов. Их много здесь говорено –
Всё перебрали, оценили здесь.
Ведь жизнь останется навеки неповторенной,
Короткой,
 как оборванная песнь.

1938

СТОЛ

Пусть не широк он. В пятнах. Пусть.
Но он стоит с таким упорством,
что забываешь сон и грусть
в уюте мизерном и черством.

С ним по соседству – абажур,
который хлопает глазами,
когда, усталый, я гляжу
на стол, заваленный стихами...

1938

ДЕД

Он делал стулья и столы
и, умирать уже готовясь,
купил свечу, постлал полы,
гроб сколотил себе на совесть.

Свечу поставив на киот,
он лег поблизости с корытом
и отошел. А черный рот
так и остался незакрытым.

И два громадных кулака
легли на грудь. И тесно было
в избенке низенькой, пока
его прямое тело стыло.

1938

ПЕСНЯ

Ее сложил маляр, а впрочем,
Она, быть может, потому
Портовым нравилась рабочим,
Что за нее вели в тюрьму.
Ломали пальцы, было мало –
Крошили зуб, грозили сжечь.
Но и в огне не умирала
Живая песенная речь.
Матросы взяли песню эту
И из своей родной земли,
Бродя волной морской по свету,
В чужую землю завезли.
А тот маляр потом был сослан.
Бежал. На озере одном
Он пойман был, привязан к веслам
И вместе с лодкой шел на дно.
И, умирая, вспомнил, видно,
Свой край, и песню, и жену.

Такую песню петь не стыдно,
Коль за нее идут ко дну.

1939



Моя земля – одна моя планета,
Она живет среди ночей и звезд.
Мне говорят, что путь бойца-поэта
В ее ночах не очень будет прост.
Но я иду.

1938

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

Рассвет сочился будто в сите,
Когда в звенящем серебре
Рванулся резко истребитель
Косым движением к земле.

Пилот, в бесстрашие шансы взвесив,
Хватался в спешке за рули,
Но все дороги с поднебесья
К суровой гибели вели.

И с жадной верной не разбиться,
Спасая в виражах мотор,
Хотел он взмыть, но силу птицы
Презрели небо и простор.

Она все тело распластала,
Скользя в пространстве на крыле,
И вспышкой взрыва и металла
Жизнь догорела на земле.

...А сила ветра так же крепла.
Восходом солнца цвел восток,
И на земле сквозь дымку пепла
Пробился утренний цветок.

Уже истлели тело, крылья,
Но жизнь, войдя с людьми в родство,
Презрев пред гибелью бессилье,
Свое справляла торжество.

Как прежде, люди в небо рвались
В упорной жажде высоты.
А в небе гасли, рассыпались
Звезд изумрудные цветы.

И пахли юностью побеги
Ветвей. Прорезав тишину,
Другой пилот в крутом разбеге
Взмыл в голубую вышину.

Мир был по-прежнему огромен,
Прекрасен, радужен, цветист;
И с человеческим сердцем вровень
На ветке бился первый лист.

И, не смущаясь пепла, тлена,
Крушенья дерзостной мечты,
Вновь ликовала кровь по венам
В упорной жажде высоты!

1938

ПАМЯТНИК

Им не воздвигали мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
Как ощущение вечной высоты,
Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано –
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути –
Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память ими взятой высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.

1938



Брату Алексею

Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь – дома, дороги, рвы,
Галдеж, истошный запах хлеба
Да посвист праздничной травы.

И как ни рвусь я в поднебесье,
Вдоль стен по комнате кружа,
Мне не подняться выше лестниц
И крыш восьмого этажа.

Земля, она все это помнит,
И хоть заплачь, сойди с ума,
Она не пустит дальше комнат,
Как мать, ревнива и пряма.

Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.

И через тьму сплошных догадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придет потом.

Нам ремесло далось не сразу –
Из тьмы неверья, немоты
Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.

Шли напролом, как входят в воду:
Жизнь не давалась, но ее,
Коль не впрямую, так обходом
Мы все же брали, как свое.

Куда ни глянь – сплошные травы,
Любая боль была горька.
Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.

1939

МОЙ ОТЪЕЗД

Мы рано вышли на вокзал. Хотелось плакать.
Я уезжал всего с единым свертком
В вагоне, от которого несло кочевьем,
Чужою жизнью, спальней и еще
Таким, чего не мог бы я понять,
Когда б не заспанные лица пассажиров,
Которые глядели из окна.
Шел снег. Он был так ласков и пушист.
Так мягко падал девушке на веки,
Что даже слезы были ни к чему.
Я посмотрел в глаза ее. Ну что же,
Еще остались письма, от которых
Мог покраснеть бы даже почтальон,
Привыкший, заслепя глаза, на память

Импровизировать несложный лепет писем,
В которых мы (нам это показалось)
О счастье некрасиво говорили.
Вот и звонок. Веселый проводник
Вдохнет – ему ведь так хотелось
Хотя бы раз сойти за пассажира.

Ну вот и все. Ее глаза просили
Остаться и уйти с вокзала в вечер,
В те дальние немые переулки,
Где люди не могли заметить слез,
Дрожанья рук и сбивчивых ответов,
Которыми я выразил любовь.
И что сказать? Я вспомнил жизнь, в которой
Так мало было настоящих дней.
Пойми меня, – с тобой я понял счастье,
Не то, что в книгах вычитали мы
И о котором в детстве нам твердили.
Я понял жизнь.

Она всегда жестока,
Как пытка непомерная, страшна,
Но это – жизнь. Войду в вагон и людям
О счастье быть влюбленным расскажу.

1939

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее – такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатье.

Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
Крамольной тьмы. Потом опять
Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа.
Не помнить снов. Хотя б крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сызнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, не досчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не достигал, –
Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь – могущество мое!

1939

АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, – где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалась мне вселенная мала?

Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок –
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно –
Вот так, храня стремление одно,
Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды
(А жизнь идет!), – все глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,
До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилие, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает
На сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери – воды.

1939

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

Когда подумать вы могли бы,
Что, выйдя к лесу за столбы,
В траву и пни ударит ливень,
А через час пойдут грибы?
И стало б видно вам отселе,
Лишь только ветви отвести,
Когда пойдет слепая зелень
Как в лихорадке лес трясти.
Такая будет благодать
Для всякой твари! Даже птицам
Вдруг не захочется летать,
Когда трава кругом дымится,
И каждый штрих непостоянен,

И лишь позднее – тишина...
Так ливень шел, смещая грани,
Меняя краски и тона.
Размыты камни. Словно бивни,
Торчат они, их мучит зуд;
А по земле, размытой ливнем,
Жуки глазастые ползут.
А детвора в косоворотках
Бежит по лужам звонким, где,
Кружась, плывет в бумажных лодках
Пристрастье детское к воде.
Горит земля, и пахнет чаща
Дымящим пухом голубей,
И в окна входит мир, кипящий
Зеленым зельем тополей.
Вот так и хочется забыться,
Оставить книги, выйти в день
И, заложив углом страницу,
Пройтись босому по воде.
А после – дома, за столом,
Сверкая золотом оправы
Очков, рассказывать о том,
Как ливни ходят напролом,
Не разбирая, где канавы.

1939



Все к лучшему. Когда прошла гроза,
Когда я в сотый раз тебе покаюсь,
Мне не страшны ни плечи, ни глаза,
Я даже губ твоих не опасуюсь.

Начнешь злословить? Пригрозишь отравой?
Про нашу быль расскажешь людям ложь?
Иль пронесешь за мной худую славу
И подлецом последним назовешь?

Мне кажется, что не пройдет и года,
Как в сумерки придешь ко мне опять
Зачем-то долго медлить у комода
И пепельницей в зеркало бросать.

Почто дается буйство милым людям?
Когда пройдет оно и, наконец,
Мы все поймем и больше бить не будем
Ни пепельниц, ни стекол, ни сердец?

1940



Я знал тебя, должно быть, не затем,
Чтоб год спустя, всему кладя начало,
Всем забудьём, всей тяжестью поэм,
Как слез полон, ты к горлу подступала,

Чтоб, как вина, ты после долго жгла
И что ни ночь – тобою б только мнилось,
Чтоб лишь к концу, не выдержав, могла
Оставить блажь и сдаться мне на милость,

Чтоб я не помнил этой тишины,
Забыл про сны, про небо и про жалость,
Чтоб ни угла, ни окон, ни жены
Мне на твоей земле не оставалось.

Но все не так. Ты даже знать не можешь,
Где началась, где кончилась гроза.
Не так солжешь, не так ладонь положишь,
Совсем по-детски поглядишь в глаза.

А я устал. За мною столько лестниц.
Я перешел ту верную межу,
Когда все мысли сходятся на песне,
Какой, должно быть, вовсе не сложу.

1939



Мне только б жить и видеть росчерк грубый
Твоих бровей. И пережить тот суд,
Когда глаза солгут твои, а губы
Чужое имя вслух произнесут.

Уйди. Но так, чтоб я тебя не слышал,
Не видел... Чтобы, близким не грубя,
Я дальше жил и поднимался выше,
Как будто вовсе не было тебя.

1939

РЕВНОСТЬ

Что вспомнил я?.. Самцов тупую похоть,
чужую нежность, ревности петлю
иль руку, обнаженную по локоть,
той женщины, с которой я не сплю?

Но что б ни вспомнил –
я тебя не видел.
Простое любопытство истребя,
я даже пальцем, жестом не обидел, –
лишь взгляд отвел в восторге от тебя.

Я вздрогнул лишь. И вновь, как полумертвый,
я в третий раз пытался подойти
к твоим рукам и вздохам, и в четвертый
почти что подошел. Почти.

Я знал тебя. Ты здесь. Ты где-то рядом.
Я знал, что расстояние – как и смерть –
между прикосновением и взглядом
не каждому дано преодолеть.

И я прошел. Не задевая. Мимо.
Забыв дышать. Шагами мертвеца.
Так с папирос – почти неразличимы –
косые струйки розового дыма
проходят мимо твоего лица.

Я знать хочу – я вовсе не ревную, –
придет ли тот герой, кому, смеясь,
ты разрешишь любить тебя вплотную,
касаний грубых пальцев не боясь?

Все просто так:
чужие видеть губы,
хотеть касаться их и, не любя,
одной рукой,
одним движеньем грубым,
одним лишь жестом
взять суметь тебя.

1939



Мне нравится твой светлый подбородок
И как ты пудру на него кладешь.
Мальчишку с девятнадцатого года
Ты театральным жестом обймешь.

А что ему твое великолепье
И то, что мы зовем – сердечный пыл?
Дня не прошло, как вгорячах на кепи
Мальчишка шлем простреленный сменил.

Ты извини его – ведь он с дороги.
В ладони въелась дымная пыльца.
Не жди, пока последние ожоги
Сойдут с его скуластого лица.

1940

ХУДОЖНИК

Ник. Шеберстову

Одно художник в сердце носит:
на глаз проверенным мазком
пейзаж плашмя на землю
бросить
и так оставить. А потом
все взвесить, высчитать,
измерить,
насытиться ошибкой всласть,
почти узнав, почти поверив,

к концу опять в безверье впасть.
И так все дни.

И с риском равным
быть узанным, взглянуть в окно.
Весь мир

принять вдруг за подрамник,
в котором люди – полотно.
И дать такую волю кисти,
так передать следы земли,
чтоб в полотне живые листья
шумели, падали, цвели.

1939



Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне измятом, заткнутом за пояс.
По голове погладь меня рукой.
Примись ругать. Обрато шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была – в толпе или в вагоне, –

Я все равно найду,
Уткнусь лицом
В твои, как небо, светлые
Ладони.

1940



Пусть помнят те, которых мы не знаем:
нам страх и подлость

были не к лицу.

Мы пили жизнь до дна
и умирали
за эту жизнь,
не кланяясь свинцу.

1941



Ни наших лиц, ни наших комнат...
Но пусть одно они запомнят:
вокруг московского Кремля
вращалась в эти дни Земля.

1941



Когда к ногам подходит стужа
пыткой –
в глазах блеснет
морозное стекло,
как будто
вместе с посланной открыткой
ты отослал последнее тепло.
А между тем все жизненно
и просто,
и в память входят славой на века
тяжелых танков
каменная поступь
и острый блеск холодного штыка.

1941



Нам не дано спокойно сгнить в могиле –
лежим навтыяжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждем приказа нового. И пусть
не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят.

1941



О нашем времени расскажут.
Когда пройдем, на нас укажут
и скажут сыну: – Будь прямой!
Возьми шинель –

прикроешь плечи,
когда мороз невоготу.
А тем – прости: им было нечем
прикрыть бессмертья наготу.

1941

